

A woman with red, curly hair is shown from the chest up, wearing a white lace dress with ruffled sleeves. She holds a light-colored parasol with a wooden handle. In the background, a large stone castle with multiple towers sits on a rocky island in a body of water. The scene is framed by a white border.

# ДЕЙЗИ МИЛЛЕР

Генри Джеймс

Генри Джеймс  
**Дейзи Миллер**

«Автор»

2026

**Джеймс Г.**

Дейзи Миллер / Г. Джеймс — «Автор», 2026

Новелла, сделавшая Генри Джеймса знаменитым, — о столкновении непосредственности юной американки с тяжестью несправедливых устоев.

© Джеймс Г., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Предисловие автора к Нью-Йоркскому изданию (1907) | 5  |
| Часть I                                           | 8  |
| Конец ознакомительного фрагмента.                 | 14 |

## Генри Джеймс Дейзи Миллер

### Предисловие автора к Нью-Йоркскому изданию (1907)

Дело происходило в Риме осенью 1877 года; одна моя приятельница, жившая тогда там, но ныне обосновавшаяся на американском Юге, куда менее обремененном зовом прошлого и воспоминаниями, как-то упомянула — а ведь вполне могла бы и умолчать, — об одной простодушной и неискушенной американской даме, зимовавшей в Риме годом ранее. Молоденькая дочь этой дамы, дитя природы и свободы, кочуя с нею из отеля в отель, с чистейшей совестью «подобрала» по дороге привлекательного римлянина весьма смутного происхождения, искренне изумленного своей удачей; и тем не менее парочка (насколько это для них было возможно) совершенно невинно и безмятежно показывалась на людях и знакомилась с окружающими — по крайней мере, до тех пор, пока не последовало некое легкое светское препятствие, некий досадный эпизод, не отличавшийся особой важностью или достоинством, о котором я уже забыл.

Кроме этого рассказа, я никогда ничего не слышал о тех любезных, но ничем более не примечательных дамах — мне, кажется, даже не назвали их имен, — а сам их случай послужил лишь иллюстрацией к избитому нравоучению; и, должно быть, именно отсутствие у них какой-либо выпуклости и оставило простор для той неизменной карандашной пометки, что в подобных обстоятельствах неукоснительно гласит: «Драматизируй, драматизируй!»

Результатом того, что несколько месяцев спустя я осознал смысл своей карандашной пометки, стала короткая хроника «Дейзи Миллер», которую я написал в Лондоне следующей весной и затем отослал — помнится, без каких-либо предварительных условий — редактору журнала, издававшегося в Филадельфии и до того времени, казалось, благосклонно оценивавшего мои сочинения.

Сей джентльмен, однако (историк с известным именем), незамедлительно вернул мне послание, причем при таком полном отсутствии комментариев, которое показалось мне тогда довольно зловещим и, учитывая обстоятельства, безусловно требующим хоть каких-то объяснений; пока один друг, к которому я обратился за советом и дал прочесть рукопись, не объявил, что в глазах филадельфийского критика эта вещь могла сойти лишь за «оскорбление американских девушек».

Это и впрямь был свет, причем ослепительной силы; хотя вскоре мне суждено было извлечь из этого дела еще один полезный вывод. К пороку скандальности это небольшое сочинение добавляло еще и то, что по самой своей сути и по преимуществу оно являлось *новеллой*; в сущности, ярким образцом того жанра, который в лучшем случае и в подавляющем большинстве случаев был обречен на редакторскую немилость.

И если впоследствии мне суждено было почти блаженно убаюкивать себя мыслью о том, что Дейзи, по крайней мере из всех моих творений, приблизилась к «успеху» — например, к такому успеху после своего явления на свет, как немедленная пиратская перепечатка в Бостоне (сладкая дань, которой я прежде не удостоивался и которой мне больше никогда не суждено было изведать), — ирония судьбы все же заявила о своих правах в том обстоятельстве (и я долго не мог отделаться от этого ощущения), что совершенно особое осуждение подстерегало первое появление на свет этого, в конечном счете самого процветающего, порождения моей фантазии.

Так или иначе, столь двояко дискредитированное дитя без долгих проволочек встретило благосклонность в глазах моего замечательного друга, покойного Лесли Стивена, и было опубликовано в двух номерах журнала *The Cornhill Magazine* (1878).

В той публикации и в последующих повесть определялась как «этюд» (*a Study*) — по причинам, восстановить которые в памяти, признаюсь, я не в силах, если только они не были обусловлены некоторой тривиальностью и бессодержательностью буквального обозначения моей бедной маленькой героини. Бессодержательность и плоскость, должно быть, казались самой сутью ее истории, так что присоединенный подзаголовок, быть может, имел целью лишь умерить пыл читателя и предостеречь его от чрезмерных надежд на захватывающие сцены. Он предполагал просто сосредоточение внимания на предмете скудном и внешне вульгарном, из которого, впрочем, достаточно глубокая и задумчивая нежность могла бы со временем извлечь робкое, парадоксальное очарование.

В любом случае я опускаю здесь этот добавленный подзаголовок — ввиду простой истины, которая должна была быть очевидна мне с самого начала: моя маленькая экспозиция выдержана вовсе не в критических, но в высшей степени чрезмерно и расточительно поэтических тонах.

Мне вспоминается, как много времени спустя мне довелось в связи с этим поразмышлять о прихотливой игре круговорота времени. Дело было снова в Италии — в Венеции, в драгоценном для меня обществе интересной приятельницы, ныне покойной, с которой мы сидели в гондоле на Гранд-канале у оживленной пристани одного из отелей. Немалых размеров терраса была расположена так, что служила заметной сценой для демонстративного поведения двух молоденьких девиц — уж они-то, несомненно, были детьми природы и свободы, — чье злоупотребление этими благами на глазах у всей публики и перед нашим собственным взором, когда мы сидели в гондоле, вызвало у второго нашего спутника, делившего с нами прогулку, замечание, что перед нами во всей красе предстали две подлинные Дейзи Миллер.

И тут-то в незамедлительном протесте моей очаровательной хозяйки круговорот времени, как я его называл, тотчас же и явил себя:

«Как вы можете уподоблять этих созданий образу, единственная вина которого состоит лишь в том, что он трогательно преобразил столь жалкий тип и благодаря поэтическому вымыслу не только сбил с толку наше суждение о нем, но и сделал всякий суд над ним совершенно невозможным?»

С этими словами благородная дама и превосходный критик обратилась к самому автору:

«Вы прекрасно знаете, что приданным вами поворотом вы совершенно исказили то, что изначально держали в уме, — то, что вам до пресыщения доводилось „наблюдать“; ваше престестное извращение предмета или ваша бессовестная мистификация наших чувств делают ему право же слишком много чести — и все же, поскольку все очаровательное или трогательное всегда в известной мере оправдывает само себя, мы до некоторой степени прощаем и понимаем вас. Но зачем тратить романтический дар попусту? Есть случаи — и их слишком много, — когда вы повторяли это снова; когда, побуждаемый духом наблюдения, поначалу, без сомнения, вполне искренним, и в то время как отмеренная и прочувствованная правда буквально дергала вас за рукав, вы уступали своему неизлечимому пристрастию к изяществу — тому свойству вашей натуры, которое столь неудержимо влечет вас к форме, красивости и пафосу, не говоря уже о подчас неуместном шутовстве. Быть может, у вас в конце концов просто слишком много воображения? Эти ужасные молодые особы, кривляющиеся у входа в отель, и есть настоящие Дейзи Миллер, какими они были на самом деле; тогда как ваша героиня в повести — к вящему сожалению — по силе своего чистосердечия, по самой сути своего простодушия попросту не могла бы существовать вовсе».

Мой ответ на все это изобиловал, разумеется, куда большим числом заверений и признаний, чем я могу или должен воспроизводить здесь; главное же из них неизбежно сводилось

к тому, что мой мнимо типический маленький персонаж был, разумеется, чистой поэзией и никогда ничем иным не являлся — ибо именно к этому благотворное воображение, даже в самой малой дозе, неизменно и устремляется. Что же касается изначальной грубости и прямолинейности читательского восприятия, то это, осмелюсь сказать, добавленное мною изображение, было уже иным вопросом — впрочем, вопросом, который к тому времени и вовсе утратил всякое значение.

*Генри Джеймс*

## Часть I

В маленьком швейцарском городке Веве есть один на редкость уютный отель. Впрочем, отелей там великое множество, ведь обслуживание туристов — главное занятие этого городка, расположенного, как помнят многие путешественники, на берегу удивительно синего озера, побывать на котором считает своим долгом каждый приезжий. Вдоль берега тянется сплошная череда подобных заведений любого разряда — от новейшего «гранд-отеля» с белоснежным фасадом, сотней балконов и дюжиной флагов на крыше до скромного старинного швейцарского пансиона с выведенным готическими буквами названием на розовой или желтой стене и неуклюжей беседкой в углу сада. Однако один из отелей Веве пользуется особой, едва ли не классической известностью: от выскочек-соседей его отличает благородный дух роскоши и основательности.

В июне здесь собирается особенно много американцев; можно даже сказать, что в эту пору Веве приобретает черты американского курорта. Здешние картины и звуки вызывают в памяти образы Ньюпорта и Саратоги. То и дело мелькают нарядные барышни, шуршат муслиновые оборки, по утрам гремит танцевальная музыка, и отовсюду доносятся звонкие голоса. Подобное впечатление возникает в превосходной гостинице «Три короны», и воображение легко переносит вас в «Оушен-хаус» или «Конгресс-холл». Но в «Трех коронах», надо признать, немало и того, что совершенно не вяжется с этой картиной: безупречные немецкие официанты, похожие на секретарей посольств; русские княгини, отдыхающие в саду; маленькие польские мальчики, чинно гуляющие за руку с гувернерами; залитая солнцем вершина Дан-дю-Миди и живописные башни Шильонского замка.

Право, не знаю, о сходствах или о различиях размышлял молодой американец, который года два-три назад сидел в саду «Трех корон» и лениво оглядывал некоторые из упомянутых прелестных картин. Стояло чудесное летнее утро, и, как бы наш герой ни смотрел на мир, вокруг все казалось ему очаровательным. Он прибыл накануне на пароходе из Женевы, где жил уже долгое время, чтобы навестить тетушку, остановившуюся в этом отеле. Но у тетушки разболелась голова — голова у нее болела почти всегда, — и теперь она заперлась в номере, вдыхая пары камфоры, так что племянник был предоставлен самому себе.

Ему было около двадцати семи лет; друзья, говоря о нем, обычно замечали, что он «учится» в Женеве. Недоброжелатели утверждали... впрочем, недоброжелателей у него не было вовсе: это был исключительно приятный и всеми любимый молодой человек. Скажем проще: некоторые уверяли, будто истинная причина его столь долгого пребывания в Женеве кроется в страстной привязанности к одной местной даме — иностранке, которая была старше него. Мало кто из американцев — кажется, вообще никто — видел эту даму, о которой ходили весьма любопытные слухи. Но Уинтерборн с давних пор был привязан к этой цитадели кальвинизма: мальчиком его отдали здесь в школу, затем он учился в женевском колледже и за эти годы завязал множество юношеских знакомств, дружбу с которыми бережно хранил к вящему своему удовольствию.

Постучав в дверь тетушки и узнав о ее нездоровье, он прогулялся по городку и вернулся к завтраку. Завтрак был уже позади, но он все еще пил кофе за маленьким столиком в саду; чашку ему подал один из официантов, смахивающий на атташе. Наконец он допил кофе и закурил сигарету.

Вскоре по дорожке подошел мальчик лет девяти-десяти. Ребенок, тщедушный для своих лет, имел не по-детски серьезное выражение лица, бледную кожу и острые черты. Одет он был в бриджи и красные чулки, обтягивавшие худенькие ножки-спички; на шее пламенел яркий красный галстук. В руке он сжимал длинный альпеншток и его острым наконечником тыкал во

все подряд: в клумбы, в садовые скамейки, в шлейфы дамских платьев. Поравнявшись с Уинтерборном, он остановился и уставился на него парой блестящих, пронизательных глазенок.

— Дадите кусочек сахара? — спросил он резким, жестким голосом — по-детски незрелым и все же странно взрослым.

Уинтерборн взглянул на столик рядом с собой, где стоял кофейный прибор, и увидел несколько оставшихся кусков.

— Возьми один, — ответил он. — Но не думаю, что сахар полезен маленьким мальчикам.

Мальчуган подошел и деловито выбрал три куса: два спрятал в карман бриджей, а третий тут же сунул за щеку. Оперев альпеншток, словно копье, о скамейку Уинтерборна, он попытался разгрызть сахар.

— Черт, ну и твер-р-дый! — воскликнул он, забавно растягивая слово.

Уинтерборн тут же признал в нем соотечественника.

— Смотри, зубы сломаешь, — по-отечески предостерег он.

— Нечего ломать. Все выпали. Всего семь штук осталось. Мама вчера считала, а один сразу после этого выпал. Сказала, если еще хоть один вылетит — отшлепает. А я что сделаю? Это все дурацкая Европа. Тут климат такой, вот они и сыплются. В Америке не выпадали. Это из-за здешних отелей.

Уинтерборна это позабавило.

— Если ты съешь три куса сахара, мама тебя точно отшлепает, — сказал он.

— Тогда пусть конфет купит, — парировал юный собеседник. — Здесь же нормальных конфет не найдешь — американских. Американские конфеты — самые лучшие!

— А американские мальчики — самые лучшие на свете? — спросил Уинтерборн.

— Не знаю. Я американский мальчик, — ответил ребенок.

— Вот и видно, что ты из лучших! — рассмеялся Уинтерборн.

— А вы американский мужчина? — не унималось шустрое дитя. И, услышав утвердительный ответ, заявило: — Американские мужчины самые лучшие.

Собеседник поблагодарил за комплимент, а мальчик, оседлав альпеншток, стал озираясь по сторонам, приступая ко второму куску сахара. Уинтерборн подумал, не был ли он сам таким в детстве, ведь его тоже привезли в Европу примерно в этом возрасте.

— А вот и сестра идет! — крикнул мальчик мгновение спустя. — Она американская девушка.

Уинтерборн посмотрел вдоль дорожки и увидел приближающуюся красавицу.

— Американские девушки — самые лучшие девушки на свете, — весело заметил он своему юному знакомцу.

— Моя сестра вовсе не лучшая! — объявил тот. — Вечно ко мне придирается.

— Полагаю, ты сам в этом виноват, а не она, — отозвался Уинтерборн.

Тем временем барышня подошла ближе. На ней было платье из белого муслина со множеством рюшей, оборок и бантами из бледных лент. Она была с непокрытой головой, но держала в руке большой зонтик с широкой вышивкой по краю; собой она была поразительно, восхитительно хороша. «До чего же они прелестны!» — подумал Уинтерборн, выпрямляясь на скамейке и готовясь встать.

Барышня остановилась возле его скамьи, у парапета, с которого открывался вид на озеро. Мальчик тем временем превратил альпеншток в шест для прыжков и всюю скакал по гравии, поднимая изрядную пыль.

— Рэндольф, — окликнула его девушка, — что ты делаешь?

— В Альпы поднимаюсь! — ответил Рэндольф. — Вот так! — И он подпрыгнул еще раз, осыпав Уинтерборна камешками.

— Так с них спускаются, — заметил Уинтерборн.

— Он американец! — звонко выкрикнул Рэндольф.

Девушка не обратила никакого внимания на это объявление и строго посмотрела на брата:

— Уж лучше бы ты вел себя тихо.

Уинтерборну показалось, что их вроде как представили друг другу. Он поднялся, бросил сигарету и не спеша подошел к девушке:

— Мы с этим молодым человеком только что познакомились, — произнес он со всей возможной учтивостью.

В Женеве, как он прекрасно знал, молодому человеку не подобало заговаривать с незамужней девушкой без особых на то оснований; но здесь, в Веве, при таких идеальных обстоятельствах — когда прелестная соотечественница сама останавливается рядом в саду, — почему бы и нет? Впрочем, красавица, выслушав его слова, лишь бегло взглянула на него, а затем повернулась к парапету и стала смотреть на озеро и горы на противоположном берегу. Уинтерборн засомневался, не зашел ли слишком далеко, но решил, что лучше продолжить разговор, чем отступить. Пока он подбирал слова, девушка снова обратилась к брату:

— Хотела бы я знать, где ты взял эту палку.

— Купил, — отрезал Рэндольф.

— Не хочешь же ты сказать, что потащишь ее в Италию?

— Именно, я возьму ее в Италию! — заявил мальчик.

Девушка окинула взглядом перед платья, поправила пару лент и вновь устремила взор вдаль:

— Что ж, по-моему, лучше бы ты ее где-нибудь оставил.

— Вы собираетесь в Италию? — с глубоким почтением поинтересовался Уинтерборн.

Барышня снова взглянула на него:

— Да, сэр, — ответила она и замолчала.

— Вы... э-э... поедете через Симплонский перевал? — продолжил он, чувствуя легкую неловкость.

— Не знаю, — сказала она. — Наверное, через какие-то горы. Рэндольф, через какую гору мы поедем?

— Куда поедем? — переспросил ребенок.

— В Италию, — пояснил Уинтерборн.

— Не знаю, — буркнул Рэндольф. — Я вообще не хочу в Италию. Я хочу в Америку.

— О, Италия прекрасна! — возразил молодой человек.

— А там можно купить конфет? — громко поинтересовался Рэндольф.

— Надеюсь, что нет, — отозвалась сестра. — По-моему, ты уже достаточно их съел, и мама считает так же.

— Да я их вечность не ел — целых сто недель! — кричал мальчик, продолжая скакать.

Девушка снова оправила оборки и ленты, а Уинтерборн рискнул сделать замечание о красоте открывающегося вида. Смущение его прошло: он понял, что сама она ни капли не смущена. Ее очаровательный цвет лица ничуть не изменился; она явно не была ни оскорблена, ни польщена. Если она и смотрела в сторону, когда он обращался к ней, делая вид, будто не слишком внимательно слушает, то лишь по привычке, из природной манеры держаться. И все же, по мере того как он продолжал говорить и указывать на разные достопримечательности, о которых она, похоже, не имела ни малейшего понятия, ее взгляды становились все более открытыми и долгими. И тогда он заметил, что этот взгляд был совершенно прямым и бесхитростным. Однако его нельзя было назвать дерзким или нескромным: глаза девушки лучились поразительной честностью и свежестью.

Это были чудесные глаза; да и вообще Уинтерборн давно не встречал столь прелестного создания — цвет лица, носик, ушки, зубы — все было безупречно. Он был тонким ценителем женской красоты, любил наблюдать ее и разбирать в деталях, и по поводу лица этой юной

особы сделал для себя несколько выводов. Оно вовсе не было пресным, но и не отличалось особой выразительностью; при всей своей нежности ему, по снисходительному мнению Уинтерборна, недоставало некоторой законченности, утонченной огранки. Он допускал, что сестрица мастера Рэндольфа вполне способна быть кокеткой; он не сомневался, что у нее есть характер; но в ее ярком, милом, простодушном личике не было ни капли насмешливости или иронии.

Вскоре стало ясно, что она весьма расположена к беседе. Она сообщила, что они с матерью и Рэндольфом собираются провести зиму в Риме. Спросила, «настоящий» ли он американец — сама она ни за что бы не догадалась: он казался скорее немцем (это было сказано после некоторого колебания), особенно когда говорил. Уинтерборн со смехом ответил, что встречал немцев, говорящих как американцы, но американца, говорящего по-немецки с акцентом соотечественников, припомнить не может. Затем он предложил ей присесть на скамью, которую только что оставил. Она ответила, что предпочитает стоять и ходить, однако тут же села. Она рассказала, что родом из штата Нью-Йорк — «если вы вообще знаете, где это». Уинтерборн узнал о ней еще больше, поймав ее шустрого братца и заставив его постоять рядом пару минут.

— Как тебя зовут, дружок? — спросил он.

— Рэндольф К. Миллер, — бойко ответил мальчик. — А ее, хотите, скажу как зовут? — и он наставил альпеншток на сестру.

— Лучше бы ты помолчал, пока не спросят! — невозмутимо заметила сестра.

— Я был бы счастлив узнать ваше имя, — сказал Уинтерборн.

— Ее зовут Дейзи Миллер! — выкрикнул ребенок. — Только это не настоящее имя; на визитках у нее другое написано.

— Жаль, что у тебя нет с собой моей карточки! — отозвалась мисс Миллер.

— Настоящее имя — Энни П. Миллер, — продолжал мальчик.

— Спроси лучше, как его зовут, — сказала сестра, указывая на Уинтерборна.

Но до этого Рэндольфу не было дела; он продолжал выкладывать сведения о семье:

— Отца зовут Эзра Б. Миллер. Его здесь нет, он в лучшем месте, чем Европа.

Уинтерборн на миг подумал, что ребенку так внушили мысль об отце, отошедшем в мир иной, но Рэндольф тут же добавил:

— Отец в Скенектади. У него там огромное дело. Он богач, зуб даю!

— Ну вот еще! — воскликнула мисс Миллер, опустив зонтик и рассматривая вышитую кайму.

Уинтерборн отпустил мальчика, и тот побрел прочь, волоча за собой альпеншток.

— Он терпеть не может Европу, — сказала девушка. — Домой хочет.

— В Скенектади?

— Да, прямо сию минуту. У него тут нет мальчишек. Есть тут один, да и тот вечно ходит с губернатором, ему играть не разрешают.

— А у вашего брата нет учителя? — осведомился Уинтерборн.

— Мама думала нанять кого-нибудь, чтобы ездил с нами. Одна дама советовала отличного учителя, американка — миссис Сандерс, может, знаете? Кажется, из Бостона. Она рассказала про этого учителя, и мы хотели взять его с собой. Но Рэндольф заупрямился: сказал, не нужны ему никакие учителя в дороге и учиться в поезде он не станет. А мы ведь в поездах чуть ли не половину времени проводим. В вагоне нам встретилась одна англичанка — кажется, мисс Фезерстоун, может, слышали? Она все спрашивала, почему я сама не учу Рэндольфа — не преподаю ему «науки», как она выразилась. По-моему, он сам меня чему угодно научит. Он ужасно смысленный.

— Да, — согласился Уинтерборн, — он производит впечатление очень толкового мальчика.

— Мама наймет ему учителя, как только доберемся до Италии. В Италии есть хорошие учителя?

— Полагаю, превосходные, — ответил Уинтерборн.

— Или отдаст в какую-нибудь школу. Ему надо учиться. Ему всего девять, а он собирается в колледж.

И мисс Миллер продолжала щебетать о делах своей семьи и обо всем на свете. Она сидела, сложа на коленях хорошенькие ручки, унизанные сверкающими кольцами, и ее прелестные глаза то останавливались на лице Уинтерборна, то блуждали по саду, разглядывая прохожих и открывающийся пейзаж. Она разговаривала с ним так просто и свободно, будто знала его с незапамятных времен. Уинтерборну это было весьма по душе: он уже много лет не слышал, чтобы молодая девушка говорила так много и непринужденно. Пожалуй, об этой незнакомке, подсевшей к нему на скамью, можно было сказать, что она болтушка. Она держалась очень спокойно, сидела в очаровательной, непринужденной позе, но ее губы и глаза находились в постоянном движении. У нее был мягкий, тонкий, приятный голос и удивительно общительный тон.

Она поведала Уинтерборну историю их путешествий, рассказала о планах матери и брата и перечислила отели, в которых они останавливались.

— Та англичанка в поезде, мисс Фезерстоун, — говорила она, — спросила, неужели мы в Америке все живем в отелях. Я ей ответила, что никогда в жизни не видала столько отелей, сколько за время этой поездки. Только по ним и кочуем.

Впрочем, мисс Миллер произнесла это без малейшей тени жалобы; она была всем чрезвычайно довольна. Она уверяла, что отели очень хороши, если к ним привыкнуть, и что Европа — сплошное очарование. Она ничуть не разочарована. Возможно, потому, что так много слышала о ней раньше: многие ее близкие подруги бывали здесь не раз. К тому же ей всегда присылали платья и шляпки из Парижа, и, надевая парижское платье, она всякий раз чувствовала себя так, будто уже находится в Европе.

— Вроде сказочной шапки-невидимки? — заметил Уинтерборн.

— Да, — подхватила мисс Миллер, не вникая в сравнение, — мне всегда безумно хотелось сюда приехать. Хотя ради одних платьев ехать не стоило: самые красивые они все равно отправляют в Америку, а здесь продают сущее убожество. Единственное, что мне не нравится, — продолжала она, — это общество. Здесь вообще нет никакого общества, а если и есть, то неизвестно, где оно прячется. Вы не знаете? Наверное, оно где-то существует, но мне пока не попадалось. А я ужасно люблю светскую жизнь, и дома у меня ее было хоть отбавляй. Не только в Скенектади, но и в Нью-Йорке. Я каждую зиму ездила в Нью-Йорк. Там меня постоянно приглашали. Прошлой зимой в мою честь устроили семнадцать званых обедов, и три из них давали джентльмены, — добавила Дейзи Миллер. — В Нью-Йорке у меня куда больше друзей, чем в Скенектади: и знакомых кавалеров, и молодых дам, — помолчав, продолжала она. Ее оживленные глаза с легкой, неизменной улыбкой вновь обратились к Уинтерборну во всем своем блеске. — Мужского общества у меня всегда было в избытке.

Бедный Уинтерборн был одновременно позабавлен, озадачен и совершенно очарован. Ему еще никогда не доводилось слышать подобных речей от молодой девушки — во всяком случае, от тех, чье поведение не вызывало явных сомнений в их благопристойности. Неужели мисс Дейзи Миллер повинна в том, что в Женеве называют *inconduite* — предосудительным поведением? Он почувствовал, что слишком долго прожил в Женеве и отвык от американских нравов. С тех пор как он вошел в возраст, когда начинают разбираться в людях, ему еще не встречался столь яркий тип американской девушки.

Безусловно, она была очаровательна, но до чего же чертовски общительна! Кто же она: просто наивная провинциалка из штата Нью-Йорк? Неужели все хорошенькие девушки, избалованные мужским вниманием, ведут себя именно так? Или перед ним расчетливая, дерзкая и бесцеремонная особа? Уинтерборн утратил чутье в подобных делах, а рассудок был бессильен ему помочь. Мисс Дейзи Миллер выглядела на редкость невинной. Одни уверяли его, что

американские девушки в высшей степени чисты и непосредственны, другие — что это опасное заблуждение. Он склонялся к мысли, что Дейзи — кокетка, милая американская кокетка.

Ему еще не приходилось иметь дела с подобными созданиями. В Европе он знал двух-трех женщин — особ постарше мисс Дейзи и ради приличия снабженных мужьями, — которые были записными кокетками: опасными, роковыми женщинами, связь с которыми грозила обернуться серьезными неприятностями. Но эта девушка явно не принадлежала к их числу; она была слишком простодушна — всего лишь хорошенькая американская ветреница. Уинтерборн даже обрадовался, что нашел подходящее определение для мисс Дейзи Миллер. Он откинулся на спинку скамьи, подумал, что у нее самый очаровательный носик на свете, и задался вопросом: каковы же правила общения с подобными милыми созданиями? И вскоре ему представился случай это выяснить.

— А вы бывали в том старом замке? — спросила девушка, указывая зонтиком на белеющие вдали стены Шильона.

— Да, и не раз, — ответил Уинтерборн. — А вы, полагаю, еще не успели его осмотреть?

— Нет, мы там не были. А мне ужасно хочется! Я ни за что не уеду отсюда, пока не посмотрю этот замок.

— Это чудесная прогулка, и добраться туда совсем не трудно. Можно на экипаже или на пароходе.

— Можно и на поезде, — заметила мисс Миллер.

— Да, можно и на поезде, — согласился Уинтерборн.

— Наш курьер<sup>1</sup> говорит, что поезд подъезжает к самому замку. Мы собирались поехать на прошлой неделе, но у мамы разболелся желудок. Она ужасно страдает несварением и сказала, что не выдержит дороги. Рэндольф тоже заупрямился: говорит, плевать он хотел на старые замки. Но на этой неделе мы, наверное, выберемся, если уговорим Рэндольфа.

— Ваш брат не питает интереса к памятникам древности? — с улыбкой поинтересовался Уинтерборн.

---

<sup>1</sup> *Курьер* (в контексте европейских путешествий XIX века) — профессиональный наемный гид и распорядитель поездки, отвечавший за бронирование лучших гостиниц, покупку билетов, наем экипажей, доставку багажа и расчеты с прислугой.  
*Прим. ред.*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.